

Сцены древнего Кремля

Федор Алексеев в Третьяковской галерее

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСЬ



В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка Федора Алексеева, русского пейзажиста XVIII–XIX веков, одного из создателей жанра русского городского пейзажа. Обозреватель „Ъ“ ГРИГОРИЙ РЕВЗИН обнаружил там фантастический итальянский город — Москву.

Нельзя сказать, что виды Федора Алексеева малоизвестны; их можно найти в любой книжке по истории Петербурга, Москвы, а также и некоторых других городов и весей вроде Николаева или Полтавы. С другой стороны, нынешняя выставка к 250-летию художника впервые, наверное, собирает все эти виды вместе, из запасников разных музеев (Русский музей, Третьяковка, МУАР). В своей полноте они производят впечатление фантастическое, причем только относительно одного города — Москвы.

Федор Алексеев учился в Италии, больше всего — в Венеции, любимым его художником был Каналетто, которого он с успехом копировал. Эти копии (за них он получил звание академика) тоже показаны на выставке; при всей точности они отличаются некоторой меланхоличностью цвета, как будто бы Алексеев не просто жил в Венеции, а всегда в ноябре, когда воды лагуны приобретают сероватый оттенок. Для Петербурга такой извод Венеции подходил идеально, сам этот город выглядел как Венеция вечно-ноября и, пожалуй, выглядит до сих пор. Во всяком случае, когда рассматриваешь алексеевские виды, то испытываешь к городу благодарность за неизменность — хотя в нем и появились новые здания, машины вместо карет и вежливые незаметные люди в штатском вместо гвардейских офицеров, но видно, что не это в нем главное.

А вот с Москвой произошло нечто поразительное. Москва Федора Алексеева не имеет ничего общего с тем городом, в котором мы живем сегодня.

И Московский Кремль, и кремлевские соборы построены итальянцами, и все мы это знаем. Но параллельно с этим знанием

есть собственно реальность и Кремля, и соборов, и когда смотришь на них, то думаешь, что это, наверное, были какие-то особые итальянцы, которые не только обрусели по приезду в Москву, превратившись в Иванов Фрязиных, но как-то изначально, еще до приезда отличались внутренней предрасположенностью к обрусению. Что-то им было не мило в родной стране, и хотели они от нее как-то отличаться, и это очень сказалось в их работах. Вот сегодня бывает, что один, скажем, на десять тысяч европейский интеллигент (чаще женщина) вдруг впадает в православие и едет к нам нести наш крест, и о таких случаях даже сообщает пресса. Видимо, там, в XVI веке, такое тоже случалось.

Но когда глядишь на акварели Федора Алексеева, обнаруживаешь, что дело обстоит вовсе не так. Итальянская сущность Москвы с благодарностью отзывалась на его итальянскую кисть, и получился поразительно красивый, сложный, разнообразный итальянский город.

Москва в этот момент умещалась в Кремле едва ли не наполовину, и переселиться тогда из Кремля на Остоженку значило примерно то же, что сейчас переселиться с Остоженки в Бибирево. Кремль был совсем другим не потому, что там сегодня столько снесено, а потому, что это был живой город. Все его ворота были открыты, и город вливался в него и выливался так же, как сегодня вливается в Вероне или в Парме.

Это особое переживание городских стен. Сегодня мы переживаем стены Кремля так же, как, скажем, монгольские орды — непреодолимое препятствие посреди пустыни перекасти-площадей. На рисунках Алексеева они предстают как следы прошлого Средневековья, обжитые сегодняшними просвещенными временами; то там, то сям они появляются из-за великолепных дворцов, мраморных лестниц, переходов, храмов и торжищ. Стены те же, зубчатые, итальянские, но впечатление от них совсем иное, в них больше нет вкуса власти и силы, а толь-

ко вкус истории. Вот в итальянском городе Лукке стены несколько позднее кремлевских, но в целом похожи, по ним туристам предлагают прокатиться на велосипеде. Вы можете себе представить кремлевские стены, по которым можно покататься? Посмотрите алексеевские рисунки — и вам станет ясно, как это бывает. Точнее, бывало.

Этот город — Кремль — богато и плотно застроен. Это тоже трудно осознать. Когда сегодня выходишь на Соборную площадь Кремля и видишь эти великолепные храмы, то испытываешь все же некоторое удивление от формы площади: какая-то она странная, неправильная, и хотя все здания очень гармонично подходят друг к другу, но при этом такое ощущение, что их растащили по углам и эти углы непонятно зачем образовались. У Алексеева ты вдруг обнаруживаешь, что сюда вливались пять улиц и переулков, и соборы действительно стояли по их несуществующим теперь углам. Это была свободной формы средневековая городская площадь, и эта площадь переливалась в другую, Ивановскую, которая тоже была вовсе не маленьким пустым замощенным местом среди пустого заснеженного газона с автоматчиками в тулупах под елками, как сегодня, а огромной городской площадью с колоссальным Иваном Великим посреди почти венецианской по плотности городской среды. И это была система перетекающих одна в другую городских площадей, которой сегодня поражает, скажем, центр Вероны.

А спуск к реке, к стенам вдоль набережной! Это сегодня там ровный газон, и при попытке выйти туда немедленно раздастся лихой свист топтуна. В детстве меня все поражало, как это башня, выходящая на реку, называется Портомойной, я представлял себе, что вот царица ну или все же ее помощница какая-нибудь из Большого дворца по этому склону, поди тогда не подстриженному, а в бурьяне, прыгает по тропинке туда, вниз, мьть портки, и как-то это все нелепо. А оказывается, там был Подол — и что это было! Это был целый город на склоне, и

Пейзажи Федора Алексеева дают зрителям неожиданное измерение привычных городских пространств. ФОТО ДМИТРИЯ ДУХАНИНА

город с совершенно итальянскими улицами-лестницами, где дома с несколько аффектированным барочным декором стояли на белокаменных фундаментах, как в какой-нибудь Катанье на Сицилии, откуда родом известный комиссар и которую Федор Алексеев непонятно как посетил и нарисовал. И весь этот город в одну сторону вываливался на реку, а в другую, если подняться, выходил вдруг на Соборную площадь, а если повернуть направо и пойти по застроенной классицистическими дворцами главной улице, то опять попадешь на площадь, к воротам, где Савинков взорвал бомбу, а великий князь, чей дворец там стоял, все ж-таки утек, а за воротами — рынок, куда они все ходили за едой, а над ним вдруг в тесноте лавок и домов — храм Василия Блаженного, и перед ним опять маленькая средневековая площадь, и на ней — Лобное место.

Этого города больше нет, и ты судорожно перебираешь в голове воспоминания об итальянских городах Лукке и Парме, Сиене и Вероне, Венеции и Флоренции, Катанье и Ноте, где ты видел вот такую лестницу, вот такой переулок, вот такой дворик, пока не понимаешь, что это какие-то странные мечты. Какая-то параллельная история, в которой Москва могла бы быть совсем другим городом, а Россия — совсем другой страной. Но зато вдруг из этого потока воспоминаний рождается ясное ощущение того, чем же она стала и что такое Кремль сегодня. Это уникальный город. Оттуда ушли жители, как из какого-нибудь Херсонеса, или Эфеса, или Петры. Но он не превратился просто в брошенный город, в город мертвых, где Индиана Джонс разыскивает библиотеку Ивана Грозного. Он превратился в брошенный город, в котором поселилась власть. И этот объект идеально выражает природу русской власти: пустой город, жителей больше нет, теперь здесь заживем мы.